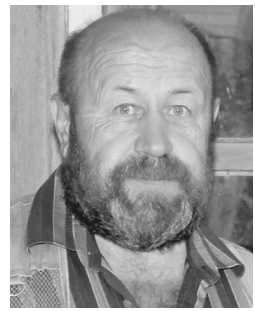
Юрий Манаков



ХИТРОВАН ТУНГУС

Дорога в две колеи, с выходом по обочинам плоских шершавых плит, обежала с десяток стоящих наособицу кудрявых коренастых кедров и резво взяла в гору. Августовское солнышко грело ласково и не жарко, и поэтому идти было относительно легко. В паевках за плечами только снедь, плички-совки для удобства при сборе черники, тёплая одежда для ночлега. Охотничьи тесаки на поясах в кожаных ножнах. На ногах кроссовки с толстыми рифлёными подошвами, головы покрыты панамками.

У Лукича к рюкзаку, в котором разместилась двухведёрная капроновая паевка, снизу приторочен закопчённый котелок. На широких ремнях за моей спиной фанерная паевка с плоской выдвижной крышкой, ёмкость без малого на четыре ведра. Она перешла ко мне лет тридцать назад от отца. Вес у нас, в общем-то, невеликий. Добыча наша пока еще где-то доспевала на альпийских лугах и плоскогорьях.

Астра, лайка рослая, тёмно-серого окраса, со светлыми чулочками на мощных лапах и белоснежным галстуком на шее, по своему обыкновению рыскала впереди, иногда срывалась с дороги в заросли высокой травы и там носилась, преследуя мышей-полёвок, да так, что упругие и круглые, как прямые палки, стебли марального корня с венчающими их лиловыми бутонами цветов и синеющие между ними мохнатые метёлочки кисточки-белковки ходили ходуном.

Тунгус, помесь, вероятнее всего, таксы и дворняжки, пёс жёлто-коричневой масти, гладкошёрстный и низкорослый, понуро плёлся позади, заставляя нас поминутно останавливаться и оглядываться: не отстал ли бедолага, не свалился наземь и не отполз ли в изнеможении куда-нибудь в тенёчек.

Если у Астры хозяин Лукич, то Тунгус, – пёс вольный, бродячий. То ли оттого, что по жизни он беспризорный, и поэтому ухо ему постоянно приходилось держать востро, то ли по наследственности, но Тунгус, как приметил я почти сразу, как только этот пёс увязался за нами, выходящими из посёлка в лес, парень был ещё тот, себе на уме. Вдобавок ко всему и разноглазый: правый под густыми шерстистыми бровями – синий, а левый – зелёный. Но оба странным образом выглядели и простодушно-доверчивыми, и одновременно было в их выражении что-то неуловимо плутовское.

Сегодня утром я встретился с ним впервые, а вот Лукичу, по его словам, Тунгус был знакомцем давним, да и Астра отнеслась к новому попутчику более чем

спокойно. В самом начале её некоторая благосклонность в отношении приблудившегося кобелька проявилась в позволении тому влажным носом обнюхать и лизнуть её подхвостку, однако допустила до себя лишь единственный раз. Когда воскрылённый пёс сунулся вторично, Астра так клацнула зубами, что вмиг отбила охальнику всякую охоту продолжать вожделенное изучение её прелестей.

И тут я Астру понимаю: всякий сверчок должен знать свой шесток, давно пора, а то, со ставшим повсеместно хроническим допущением и неразборчивостью в связях нынешних обитателей Земли, уже почти вся планета наша так измельчала, что скоро всё будем рассматривать под микроскопом или вообще перескочим в пресловутый «нано-мир».

Приземлённость, будь она хоть виртуальной, хоть реальной, владычествует нынче как никогда, и, бывая по случаю в мегаполисах, сопротивление этому я, если и наблюдаю, то весьма зыбкое и слабенькое. Оказывается, как это сладко: запихивать в себя не только пластмассовые, разбавленные ароматическими красителями, продукты, но и открывать своё сердце, беззаботно бросать свою душу в топкое и бездонное болото сносящего голову безудержного потребления!

У ручья, выбегающего из нагромождённых в теснине мареновых валунов и прозрачно растекающегося по дороге, прежде чем опять собраться на обочине в тугие струи и упасть водопадом вниз на покатый альпийский лужок, решили мы перекусить. Порезали колбаски и огурчиков, разломили хлеба и уселись на травянистую бровку у пробегающей воды. Лукич достал из целлофанового пакета обжаренный куриный окорочок, разорвал пополам, подозвал собак. Тунгус – секунда, и тут как тут, жадно схватил брошенную мясистую косточку в зубы и, поджав хвост, злобно прорычал на нас.

– Вот и отблагодарил, – невольно вырвалось у меня.

– Как говорится: не мы такие – жизнь такая, – шутливо откликнулся Лукич.

Астра всё это время стояла в сторонке, спокойно поджидая своей очереди.

– Ко мне, – только и обронил Лукич.

Лайка подошла и аккуратно, я бы сказал – с каким-то внутренним достоинством взяла из рук хозяина свою долю, вспрыгнула на бровку и, улёгшись, принялась неспешно поглощать мясо и разгрызать косточку.

Приступили к трапезе и мы. И хотя на нашем дастархане стояли две эмалированные кружки, я намеренно присел ближе к ручью, чтобы можно было легко дотянуться и обмакнуть ломоть хлеба в пробегающую воду. Намачивать хлебушко в живых и студёных алтайских струях моя давняя привычка, она у меня едва ли не с детства, с той самой поры, когда папка стал брать с собой в горы. У него-то я её и перенял. И скажу вам: вкус и наслаждение непередаваемые! Особенно если всё это приправлено добрым шматком сальца и пучком только что срезанной сочной черемши.

Между тем Тунгус быстро расправился со своей порцией и, повиливая куцым хвостиком, подбежал и присел на дороге в шаге перед нами. Разноцветные глазёнки его так и пожирали нас, и столько в них было обожания и преданности, что я не выдержал и кинул псу кружок колбасы. Тунгус поймал его в воздухе и, даже не прожёвывая, мгновенно проглотил. И опять он полное воплощение безграничной любви и преданности, только сейчас, как я заметил, для пса никого в мире не существовало кроме меня, такого щедрого и заботливого.

– Ты можешь скормить этому обжоре хоть весь наш двухдневный запас, – Лукич подавил усмешку. – Он всё сожрёт и ни разу не поперхнётся. Однако когда тебе будет нечего ему дать, ты для Тунгуса станешь пустым местом. А на какие концерты способен этот шибздик, ты еще не раз увидишь, – старый таёжник помолчал и философски закончил: – И запомни: мы для него всего лишь кошёлки с вкусной едой и ориентиры, чтобы не заплутать и не потеряться в горах.

Лукич убрал в паевку эмалированные кружки, полбулки хлеба, половину палки колбасы. Смял пальцами в комок пустые целлофановые пакетики и засунул в боковой кармашек рюкзака; вечером он их достанет и сожжёт в костре. Это наше неписаное правило: никакого пластика в тайге после себя не оставлять. Всё сжигаем или, если громоздкое, уносим назад в посёлок и там забрасываем в первый попавшийся мусорный контейнер. Порожние банки из-под консервов и тушёнки непременно кладём на красные угли костра. Жестянки обгорают, и в скором времени от них и следа не найдёшь. Огуречные и прочие кожурки обычно оставляем, сметая их кучкой в сторонку – это органика, перегниёт и станет удобрением.

После полудня, пройдя километра полтора по гребню горного хребта, по краям которого кое-где на осыпях виднелись подёрнутые первой позолотой карликовые лиственницы и причудливые тундровые берёзки, начали мы спуск в ущелье к Верхне-Кедровскому озеру, поблескивающему своей прозрачной синевой и уже видимому нами отсюда.

Озеро это словно вдавлено в середину крутого и каменистого склона белка и было оно безупречно круглым, обрамлённым высокими зубцами скал, отвесно выходящих из глубины и увенчанных поверху бахромой оплывающего на них альпийского луга.

Я подозревал, что образовалось озеро в те незапамятные времена, когда формировалась наша планета и, конечно же, не из кратера потухшего вулкана – подобное происходило, как правило, на вершинах и пиках горных кряжей – а вследствие падения метеорита. Видимо, сила удара этого космического пришельца была такой мощной и хлёсткой, что сам он провалился глубоко в недра, где и застрял навеки, а правильно очерченная вмятина со временем заполнилась хрустальной и целебной влагой.

Чаша озера смотрелась идеальной и, чтобы ей не переполняться, имела в правом более низком овале слив в виде углублённого русла между двух обнявших толстыми витыми корнями пологие плиты разлапистых кедров. Это был исток речки Кедровки, что, скатываясь отсюда, петляла между утёсов и останцев, щедро напитываясь по пути из бесчисленных таёжных притоков, пока порожисто не выносилась из ущелья и не впадала в бегущую из Риддерской долины Ульбу.

Глубину озера на резиновой лодке промеряли геологи, и она составила двадцать пять метров в центре и чуть меньше по краям. Вода всегда ледяная, такую и прогреть-то трудно. Окунуться сюда рискуют только самые отчаянные и закалённые. Мужики заходят в озеро с нижней пологой стороны, где неглубокое дно тянется около трёх метров, пока резко не обрывается в подводную бездну. Однако заплывать на середину водоёма на моей памяти никто из них и не пытался.

Поплюхаются, поморжуют у берега и пулей вылетают на прокалённую солнцем песчаную полоску поваляться после экстремального заплыва.

Путь наш сейчас лежал по изломанно-серпантинной тропинке вниз к озеру по панцирному склону. На сравнение этой стороны ущелья с чешуйчато-панцирной бронёй наталкивал вид разнокалиберных плоских плит, щедро разбросанных по довольно отвесному склону снизу доверху. И пусть некоторые плиты и скалы, похожие на блюдечки, лежали, будто вжавшись всей своей округлостью в травяной суглинистый песчаник, а другие косо торчали в небо замшелыми заломами и острыми зазубринами, однако общее впечатление от них оставалось именно как от единого циклопического панциря, тяжело нахлобученного на весь этот крутобокий склон. Попадались и выдавленные на тропу, в рыжеватых пятнах лишайника, углы и овалы плит, их приходилось обходить.

Кое в каких местах склон был изрезан мелкими овражками с пересохшими, усыпанными крупными камнями руслами – именно по этим створам в начале лета, в период активного таянья, с бешеной скоростью неслась талая вода с вершин на дно ущелья в речку Кедровку. Покров снега в здешних горах иногда достигал четырёх метров, и поэтому было чему таять и чем ворочать на своём пути неподъёмные валуны.

Мы не сделали и двадцати шагов вниз, как шедший впереди Лукич предостерегающе поднял руку и обернулся ко мне:

– Ступай аккуратней – впереди змеи, – и указал на вытянувшуюся через всё мшистое блюдечко сбоку тропы изумрудную, с чёрными насечками гадюку. – Вишь ты, как разнежилась красавица! Идём, не будем девочке кайф ломать...

– Лукич, гляди! Вон еще одна дрыхнет! А на плите повыше так вообще две штуки валяются! – Я засомневался: – А не дай бог, они вдруг проснутся все одновременно да полезут на нас? Куда бежать-то?

– А никуда, – беззаботно ответил старый таёжник. – Ты глянь, какие они вялые, будто неживые! Им сейчас просто не до нас. Змеи повыползали из своих нор последний разок в этом году погреться на солнышке, перед тем как залечь до весны в спячку, – Лукич на минутку задумался и продолжил: – Хотя эти процедуры у них обычно случаются ближе к середине сентября, а нынче, вишь ты, что-то раненько – в конце августа. Старики бы сказали: к холодной осени и ранней зиме. Так что, Василий, смотри под ноги да не лови ворон...

Мы продолжили спуск. И тут наш Тунгус опять отличился. Если опытная Астра не покидала тропу и шла за хозяином почти след в след, напряжённо распрямив и прижав к подхвостке пышный крючок своего хвоста, то этот шалопай надумал совершить то, к чему у таких, как он, нет ни навыков, да и смею предположить, не заложено ничего природой в их инстинкт. Пёс решил побегать вокруг и поохотиться. Наверное, наш хитрован прикинул: путь под гору – это тебе не в гору, сил столько не требует, вот и можно высвободившуюся энергию потратить на поиск добычи.

Тем более, при подъёме он наблюдал, как Астра мышковала, а он чем хуже – парень видный, ловкий, вон на какую верхотуру вскарабкался, и ничегошеньки! «Ты, мол, сейчас, Астрочка, увидишь, какой я есть доблестный охотник и добытчик!». Так ли, не так ли думал Тунгус, неизвестно, но весь его воинственный решительный вид и безрассудное поведение говорили, что, скорее всего, так оно и было.

Тунгус носился по редкотравью между торчащих плит и валунов, засовывал свой влажный нос в попадавшиеся норы, что-то вынюхивал, подпрыгивал, фыркал, встряхивался и бежал дальше. А вокруг на шершавых блюдечках плит дремали и нежились десятки узорчатых зелёных, коричневых и серых гадюк.

Оно бы всё и обошлось, кабы раззадоренный пёс не надумал перемахнуть через одну узкую плиту невдалеке от нас. То ли задел хвостом, то ли шаркнул коготками лапок греющуюся на ложе толстую змею, однако, видно, так потревожил гадюку, что та неожиданно вскинулась, в одно мгновенье стала упругой, злой, свернулась в кольцо, распрямилась и быстро заскользила вслед за обидчиком, приподняв над землёй сплющенную мордочку с раскрытой шипящей пастью.

А Тунгус, не оборачиваясь и не чуя опасности, отбежал метра на три, отыскал очередную норку, сунул в неё свой нос, что-то учуял и – давай разгребать, разбрасывать грунт лапами, да так увлёкся, что не замечал вокруг себя ничего! И напрасно. Гадюка подползла уже на то расстояние, с которого можно было прыгнуть на жертву наверняка. Скорее всего, так бы оно и произошло.

Нам с Лукичом уже не успеть даже нагнуться за каким-нибудь пластинчатым сколом, чтоб метнуть в гадюку... Тунгус же своей перепачканной мордой был давно в норе, наружи торчали лишь поблескивающий изгиб короткошёрстной, будто постриженной машинкой умелого парикмахера, спины и тощий, с невзрачным хвостиком, собачий зад. На него-то в шаге от пса и нацелилась змея, упруго подтянув своё блескуче-кольчатое тело и сгруппировавшись для смертельного прыжка. И в этот миг вихревой клубок пронёсся с тропы вниз и закружился между Тунгусом и гадюкой.

– Ай, да Астра! Ай, да молодец! – не сдержал я восторга. Но тут же меня ошпарило сомненьем: – Лукич! А эта падла не укусит её?

– Сейчас и поглядим, – ответил старый таёжник.

Однако голос и тон у друга были спокойными, чувствовалось, что исход схватки Лукичу известен заранее. И тут же лайка обернулась в нашу сторону. В стиснутых зубах её с одного края вбок торчала мёртвая сплюснутая голова с раскрытой пастью, с другого на чешуйчатых лоскутах до земли толстой верёвкой свисало тулово змеи.

Отбежавший от норки Тунгус испуганно жался в сторонке к серому выпирающему из склона ребру плиты, на овальном блюдце которой, как я отметил боковым зрением, дремала еще одна гадюка с узорными татуировками, и смотрелась она гораздо крупнее только что разорванной Астрой змеи.

– Лукич, пойдём скорей да веселей! – вырвалось у меня. – Не по душе мне эта компания. А то, как бы твари не очухались и не принялись мстить за погибшую товарку.

– У тебя чё, Василий, глаз нету? – Лукич покачал седой головой и поправил чуть съехавшую набок панамку. – Астра тока что на виду у всех задавила одну из них и – вишь ты, хоть бы кто шелохнулся! Нежатся да дрыхнут. Однако ты прав, идти нам пора, скоро солнце сядет, с ночёвкой надо что-то решать.

Стоянку облюбовали ниже озера у горбатого пластинчатого останца на краю покато-широкого, с островками черничных полянок, вдавленного в ущелье седёлка – перемычки между двумя белками, Сержинским – с него мы недавно спустились, и отвесно-нехожалым Сметанинским.

Пока было светло, натаскали хвороста. Я прикатил от скалы два отколовшихся куска с плоской поверхностью, пододвинул их друг к дружке, чтобы можно было поставить посуду под варево, и развёл между ними костёр. Сухие дрова взялись дружно. Лукич тем временем сходил к останцу, извлёк из притаённой за кустарником ниши пузатый прокопчённый чайник и несколько полуторалитровых пластиковых бутылок в цветастом продуктовом пакете.

– Колись, Лукич, – шутливо спросил я, – что там еще заныкано?

– Небольшой рулон полиэтилена на случай дождя, – серьёзно ответил таёжник. – Алюминиевые миски, кружки и ложки, старая фуфайка, парочка свитков бересты для розжига. Правда, из съестного не прячу ничего, чтобы лишний раз не привлекать зверьё. Мне-то не жалко, но они ведь, если доберутся, заодно разгрызут и почикают все тряпки, – говоря это, Лукич протянул мне чайник и пакет с бутылками. – Сбегай-ка лучше, Василий, на ключ за водой; нарви попутно на заварку смородинного и черничного листа с ягодой. А я покуда почищу картошку-моркошку да вскрою тушёнку.

В сумерках поужинали, покормили собак; прикрытый крышкой котелок с недоеденной похлёбкой Лукич отнёс и поставил в холодок у изножья останца, остальные продукты прибрал в паевку. Наломали пихтовых лапок под подстилку, нарезали тесаками травы, – получилось хорошее взбитое ложе. Накрыли костёр двумя лиственными толстыми жердочками, одну к другой – гореть будут неспешно и с высокой теплоотдачей. Только не забывай в срок подвигать. Самое время укладываться спать, что и собирались мы сделать. Но помешал Тунгус. Астра как улеглась под смородиновым кустом, положив голову на вытянутые передние лапы, сразу задремала, а пёсик, хоть и съел пайку в два раза больше, однако угомоняться и не думал, понуро бродя между костром и нами и демонстративно обнюхивая приготовленные на ночь и лежащие ворохом сучья.

– Зырь, Васёк, каков артист! Будто сроду и не кормлен. Куда в него тока лезет?

– А у него, видно, всё как у утки: сразу на вынос... Поди оформим хлебную тюрю с бульоном?

– Не поможет. Оставь его. Пусть себе покапризничает.

Тунгус, поняв своим собачьим чутьём, что говорят про него, быстро подбежал и присел перед нами, подметая куцым хвостиком остывшую пепельную золу позади себя и преданно поедая нас своими разноцветными глазёнками.

– Лукич, давай я схожу за котелком? Подкормим парня.

– Не блажи. Он сытый, и нечего пса поважать! – сказав это, Лукич отвалился на спину вдоль хвойно-травяной подстилки и через минуту захрапел.

Мне же не спалось. Я привстал, выбрал из вороха дров кедровую ветку с сухой желтой иглой и, поправив костёр, бросил её на тлеющие жердочки. Ветка ярко вспыхнула и осветила всё вокруг.

Боковым зрением я отметил, как Тунгус, чтобы не подпалиться, нехотя встал и обиженно поковылял, но не к смородине, под которой дремала Астра, а к останцу. Не дойдя метра два до скал, он даже и не лёг, а скорее рухнул на притоптанную нами траву. Всё бы ничего, но было забавно наблюдать, как он почти сразу приподнял маленькую свою удлинённую мордочку, поворотил её, укоризненно глянул на меня и с вызовом отвернулся к освещённому костром останцу. Ишь ты, какой характерный! Ну да ладно: утро вечера мудренее.

Среди ночи я проснулся оттого, что кто-то под ухом у меня посапывал и со сладким стоном шумно причмокивал. Я повернулся и в тусклых отблесках догорающего костра обнаружил сбоку от себя вольготно растянувшегося между мной и Лукичом Тунгуса. Гляди-ка, затесался, бедолага! Нашёл-таки тёплое местечко.

Я встал, зевнул с потягиванием, подбросил в костёр дров и снова прилёг. Пёс за всё это время даже не пошевелился, так и спал на спине, вольно раскинув слегка подогнутые передние и задние лапы. Мне стало любопытно: а где же Астра? Поискав взглядом, нашёл её там же, где и вечером: под смородиновым кустом. Только теперь она не дремала, а бодрствовала, и весь вид лайки – напряжённые глаза и уши торчком – говорил о том, что Астра бдит и сторожит не только лишь покой своего хозяина, но и наш с по-прежнему сопящим с прихрапываньем во сне пёсиком.

Рассматривая крупные, будто врезанные золотом в чёрное бархатное небо звёзды, вскоре сомлел и я, а прохватился в очередной раз от злобного собачьего рычанья и взлаиванья. Полусонный, сел на примятые пихтовые лапки и осмотрелся.

Лукич сноровисто укладывал в костёр хворост пучками, пламя взмётывалось высоко вверх, освещая не только горбатый останец, но и могучий кедр метрах в пятнадцати на лугу с противоположной стороны. Астра то убегала с лаем в изломанную отсветами ночь, то возвращалась, однако с полдороги обратно уносилась на луг. Тунгус, поскуливая и потявкивая, испуганно жался к костру, но, опасаясь подпалить шерсть, близко не подбирался.

– Хозяин шастает, – громко бросил Лукич, когда я присоединился и тоже принялся кидать в жаркое пламя сухие сучья. Старый таёжник одобрительно покивал и с усмешкой пояснил: – Чернику нашу Мишенька подъедает. Там же понизу ягодка испокон рясная. И крупная, не хуже смородины.

– А он Астру не порвёт?

– Пускай сначала догонит! Ты думаешь, я от нечего делать такой пионерский костёр палю? Отпугиваю.

– Да я уж понял. Конкурента шугаешь!

– Зверь теперь сытый. По большому счёту мы ему – по барабану... Однако бережёного Бог бережёт!

Между тем лай Астры начал затихать, и минут через пять собака вернулась к костру. И хотя вид у неё был совсем не воинственный, но шерсть на загривке всё еще стояла дыбом. Лукич, поджидая Астру, достал из паевки колбасу, отломил кусок и сейчас протягивал его приближающейся лайке. Астра шла невозмутимо, но с чувством исполненного долга. Оставался какой-то метр, когда в зазор между собакой и Лукичом ворвался Тунгус, ловко подпрыгнув, выхватил на лету кусок и умчался в ночь.

– Вот это жук так жук! – с восторженным недоумением вырвалось у меня.

– Проныра, – снисходительно обронил Лукич и обратился к подошедшей Астре: – Прохлопала, девонька, свой приз?

Та в ответ лишь виновато вильнула роскошным хвостом: «что, мол, с бродяги возьмёшь?».

– Да уж, точно, миленькая ты моя, – словно прочитав собачьи мысли, вслух согласился Лукич, извлекая остатки колбасной палки из паевки и разламывая надвое. – Давай, держи. Заслужила.

Астра осторожно взяла из рук хозяина аппетитный ломоть и удалилась к смородиновому кусту.

– Породу в карман не спрячешь, – уважительно проводил я лайку и поинтересовался у друга: – Пальцы-то хоть целы?

– Сам удивляюсь – но и царапинки нет. Вот ловкач! – Лукич, чтобы лучше рассмотреть, поднёс ладонь к огню, растопырил пальцы и покачал сединами. – Ладно, Василий, пойдём досыпать, а то скоро светать начнёт...

Сон после медведя получился цветным и рваным: то какой-то зоопарк привиделся с африканским жирафом в окружении наших косолапых; то я сползал по крыше многоэтажного дома и никак не мог найти, за что бы ухватиться, чтобы не улететь вниз и не разбиться в манящей и пугающей бездне. Последним приснился берег Верхне-Кедровского озера, ярко-зелёные кусты по окоёму, переливающиеся в солнечном свете разноцветные камешки и я, заходящий босиком в ледяную прозрачную воду. И хотя ощущались пупырышки изморози на коже, и начинало сводить пальцы на ногах, но почему-то я не мог повернуться и выйти из студёного озера. Бр-р!

Я с трудом разлепил глаза и, преодолевая сонливую вялость, резко оторвал свой корпус от ложа и сел наземь по-турецки, подобрав ноги под себя. Рассвело, но солнце еще не встало. С белка, от озера тянуло пронизывающим холодом, это, в общем-то, и объясняло мой последний сон, но только его, а остальные предыдущие мне бы никто наверняка и растолковать не смог. Видимо, просто сказались усталость и напряжение всего вчерашнего дня и беспокойная ночь.

Лукич хлопотал у прогоревшего костра: на подёрнутых пеплом углях сооружал из сухих щепок и сучьев миниатюрный шалашик. Вот он нагнулся, набрал полные лёгкие воздуха и начал дуть внутрь шалаша. Угли вспыхнули, затрепетало пламя, теперь можно подкладывать толстые ветки. Тунгус крутился рядом с Лукичом, Астра полёживала на своём месте под смородой.

– Доброе утрецо, – сказал я, поднимаясь с лежанки и подходя к костру. – Что-то холодновато нынче.

– Всё к тому. Это ж высокогорье. Теперь запросто может и снежок пролетать, – старый таёжник уложил кривой сук поперёк горящих дров и обернулся ко мне: – Тока не сегодня. Роса обильная, день сулит быть ясным, – Лукич указал на мокрые гачины своих штанин: – Спускался на лужок глядеть медвежье топтанье, вымок весь. Вишь ты, теперь сушусь...

– Пока то да сё, схожу-ка я на ключик, сполоснусь... Воды не надо?

– Да я уж принёс котелок.

– Постой. В нём же похлёбка оставалась?

– Вспомнил!.. – Лукич растянул морщинистый рот в снисходительной ухмылке и кивнул на Тунгуса, усевшегося напротив и влюблённо пожирающего глазёнками обоих нас по переменке. – Скажи спасибо этому шалопаю. Видно, ночью, пока мы спали, сбегал к скалам да и выжрал всё до донышка. А я-то, старый дурень, не усёк, с кем имеем дело. Лопухнулся по полной. Не прибрал котелок на выступ повыше. Вот и пришлось его драить с песочком.

– То-то он так дрых с полным брюхом, что аж постанывал от удовольствия!

– Когда?

– Да ночью же! Завалился между нами, отыскал ведь, хмырь, где потеплее и не поддувало, и так расхрапелся, что разбудил меня.

– Понятно. И выспался, и попировал. Ничего, сейчас заново наварим. Всем хватит. А там и солнышко всю росу выпарит, чтоб черничку сухой брать.

Доброе настроение друга передалось и мне. Я кликнул Астру, та охотно вскочила из-под куста, и мы направились по чуть приметной тропке к ручью. Тунгус увязался было за нами, но неловко зацепился тощим боком за высокий густой кустик пижмы, и его щедро окатило сверху росяным душем. Пёс тихонько взвизгнул и с обиженным видом вернулся сушиться к костру.

Зелёная плантация с тёмно-фиолетовыми островками черники поблескивала в солнечных лучах россыпями спелых ягод, когда мы в траве по пояс спустились к ней, минуя одну заросшую наклонную террасу за другой. Середина плантации оказалась вытоптана – создавалось впечатление, что медведь здесь не только вдоволь полакомился, но и от души повалялся. В двух-трёх местах рядом с мареновыми плитами возвышались пирамидками иссиня-чёрные кучи звериного помёта.

– Вишь ты, не тока у нас, – Лукич вздохнул, – но и среди медведей встречаются засранцы: где пожрёт, там и нагадит. Хотя обычно ходят они в сторонку подальше от мест своей пасьбы.

– Получается, что лай нашей Астрочки был ему до лампочки? – в рифму спросил я и обвёл руками весь взбуровленный участок: – Кабы испугался, столько б не наворотил!

– Он либо старый, матёрый, или же наоборот – пестун неопытный. Медведь – зверь умный, осторожный и коварный. Старый наверняка нас засёк и определил еще засветло, всё оценил, дождался ночи и начал пастись. Молодой же мог случайно, на запах, выйти сюда, а жадность да рясная черника перебили всю осторожность, – Лукич на самую малость задумался и уверенно закончил: – А ветерок с вечера, как я помню, дул с белка, что и дало мишке время хорошо подъесть и раскурочить эту полянку. А как тока ветер сменился, Астра его и учуяла...

Тунгус, что всю дорогу, пока мы лезли по дурбею и кушерам, плёлся позади, терпеливо дожидаясь, когда мы примнём траву и кустарник, с выходом на плантацию, где венчики черники и ему всего-то лишь по брюхо, так обрадовался свободному пространству, что принялся носиться и нарезать круги по поляне. Два раза даже перевернулся через голову, что совсем не сбило его куража.

Остановиться же пса заставила куча медвежьего помёта, на которую он напоролся, продолжая раскручивать свою неистовую беговую спираль. Тормозя, Тунгус выбросил перед собой передние лапы. Это и спасло его от того, чтобы не вляпаться в свежую и такую пахучую кучу. Тунгус осторожно обнюхал её; хвостик, только что торчавший вверх пистолетом, сник и вжался между ног в подбрюшье. Пёс прижал уши и попятился назад, а когда поравнялся с нами, глянул искоса в нашу сторону, да и резво скакнул обратно в ту просеку, что недавно, идя сюда, промяли мы.

– Ты чего это, братишка, струхнул-то? – громко бросил вдогонку Лукич. И будто неразумному человеку отечески прокричал: – Убежишь – потеряешься. Потеряешься – пропадёшь.

Самое любопытное случилось, едва старый таёжник умолк. Уже исчезнувший в травяных зарослях Тунгус вернулся на поляну. И сделал это напрямую через стоящую стеной высокую траву, а не как мы ожидали – по тропинке назад. И не

испугался ведь, бедолага, ни толстых бодылей и стеблей марального корня, дягиля и пижмы, ни сплетений вязели. Пулей вылетел на ягодную плантацию и, виляя хвостиком и преданно изгибая спину, приковылял к нам.

Обратная дорога домой (пусть и была с виду легче: почти всегда петляла под гору, исключение составил лишь крутой полуторачасовой подъём с черничной перемычки на вершину белка) по времени оказалась примерно равной тому пути, которым мы карабкались сюда: на спуск ушло также около восьми часов.

Со стороны глянуть: беги себе вприпрыжку вниз по крутой дорожке да припевай! Ан нет! Немалый груз за спиной да крупный щебень и сколы под ногами не шибко-то дают разбежаться! И потом – спроси любого опытного алтайского таёжника, что предпочтительней: спуск или подъём? Почти каждый, не раздумывая, ответит: «конечно же, подъём». Причём, знаю по собственному опыту – хоть гружёному, хоть порожнему. Уже одно то, что при подъёме на колени нагрузка ослабевает, для человека значит немало. А торопиться, гнать с горы – можно и шею свернуть.

Паевки наши были наполнены отборной черникой под завязку. Тёплые вещи, как и пакет с посудой, я приторочил поверх крышки, накрепко притянув жгутом. Лукич рассовал своё в кармашки и пустоты рюкзака. Подъём преодолели спокойно. Змей не встретили ни одной – за эти два дня гадюки расползлись по норам, теперь уж наверняка до первого весеннего грома.

Астра бежала впереди, иногда обшаривала плиты и валуны; Тунгус уныло плёлся позади, всем видом показывая, как жить бедному бродяге трудно и как ему опостылели эти грёбаные вершины и утёсы. Пёс приободрился, когда мы продолжили путь по рыжеватому, поросшему вереском плато. Он даже несколько раз забегал вперёд и, энергично крутя хвостиком, преданно заглядывал нам в глаза: «Почто, мол, не кормите, люди добрые? Видели, как я отважно взбирался вверх? Между прочим, все подушки на лапах себе сбил!».

– Потерпи чуток, братишка, – словно прочитав его мысли, вслух обратился к пёсику Лукич, когда тот в очередной раз перегородил нам дорогу. – У давешнего ключика сядем перекусить, тогда-то и почавкаешь вволю.

Пёс недоверчиво посмотрел на Лукича и посторонился. Как ни странно, но за тот час ходу, что оставался до ручья, Тунгус уже больше ни разу не забегал вперёд, а, опустив голову, молча тащился сзади. Ну как тут не поверишь, что «братьям нашим меньшим» речь человеческая вполне понятна, вот только сказать что-нибудь в ответ они никак не обучатся.

Из леса на окраину посёлка мы вышли ближе к ночи. Ремни так врезались, что думалось: как бы плечи не отвалились. На последних привалах у нас не было сил, чтобы стащить с себя тяжеленные паевки и прислонить рядом к стволам пихт, а самим блаженно вытянуть нахоженные ноженьки. Теперь отдыхали, переводили дух, отыскав удобные бугорки или невысокие подходящие навесы над дорогой, чтобы, попятившись, поставить низа своих паевок на твёрдую поверхность, тем самым ослабляя давление ремней на плечи. Астра, понимая, как мы устали, больше не шныряла по кустам, а степенно шла рядом с Лукичом. Зато Тунгус, откуда только силы взялись, носился как угорелый и перед нами, и по зарослям сбоку.

– Вишь ты, учуял дом. Радуется, – добродушно ухмыльнулся Лукич. – Сейчас улизнёт, и ищи-свищи парня!

И действительно, только мы перешли мост через Ульбу, пёс будто растворился среди низеньких кустов на сумеречной полянке, за которой на взгорке зыбко проступали заборы и крыши поселковых домов. На столбах вдоль переулка зажигались первые фонари. Я покричал, подзывая собаку, но никто не откликнулся, не подбежал...

Прошёл месяц. Однажды решил я сходить, побродить по сентябрьскому пойменному лесу, поискать опят. Утро солнечное, по-осеннему тихое, листва на деревьях жёлтая и багряная. Воздух горьковато-сухой. Бодро шагаю по переулку, сейчас спуск, полянка, невдалеке речной мост.

Гляжу – и не верю своим глазам: с полянки, весело повиливая куцым хвостиком, бежит мне навстречу не кто иной, как бродяга Тунгус. А у меня, как назло, ни крошки хлеба, ни жареного куска мяса в сумке, только ножик – срезать с пеньков опята. И возвращаться за гостинцами далеко.

Мелькнула мысль: «Не прав был Лукич. Всё-таки мы не кошёлки для пёсика, а что-то большее, коль он с такого дальнего расстояния узнал меня и бежит со всех ног здороваться! Ай, да молодец Тунгус! Давай-ка пожалеемся!». И я протянул подбегающему пёсику свободную руку. Однако Тунгус, поравнявшись, ловко вывернулся и, даже не глянув в мою сторону, понёсся дальше.

Я так и замер на месте, в полном недоумении машинально поворачивая голову вслед за убегающей собакой. И тут же всё понял.

Позади, метрах в семи за мной, у калитки остановилась, видимо, ходившая за покупками в магазин пожилая женщина. Она поставила большой пакет с продуктами на лавочку, склонилась и начала рыться в нём. Тунгус уже рядом, крутится возле старушки и так подпрыгивает, что еще чуть-чуть, и с лёгкостью сделает сальто в воздухе. Да может, и не одно!

Я постоял с минуту посреди дороги и пошёл дальше, напоследок усмехнувшись про себя: «Ну, что же тут поделаешь? Может, с грибами больше повезёт!..»

ХАРИТОША

Гоняться долго за гусыней не пришлось. Суслячиха, тётка дородная, в шерстяной юбке, старенькой блузке и цветастом платке, повязанном на затылке, с волосистой бородавкой на правой щеке, грузно спустилась с крыльца, держа в руке помятую алюминиевую миску с накрошенным, смоченным хлебным мякишем, и подозвала надтреснутым голосом гусей, теребящих травку-муравку на полянке у поскотины:

– Тега, тега!

Птицы опасливо скосились на вышедшего следом из избы мужика в выгоревшей панамке, с рюкзаком за спиной и, вытягивая для устрашения свои величаво-белоснежные шеи и шипя, вперевалку заспешили к хозяйке.

Суслячиха вывалила на утоптанную земляную проплешину приманку, гуси обступили кучку и принялись выхватывать кусочки и жадно проглатывать. Тётка наклонилась к самой ближней птице, ласково погладила сбоку по широкому крылу и, неожиданно ловко просунув руку той под брюхо, оторвала от земли и прижала растревоженную гусыню к себе.

– Коля, быстро готовь свой мешок! И марш ко мне! – скомандовала Суслячиха и весело добавила: – Будем упаковывать твою красавицу!

– Ты проверь... А вдруг это самец?

– А то я не знаю свою птицу! И в потёмках всякую отличу и по имени окликну!

– Да уж слышал про твои потёмки!

– Чего так?

– А ты сама-то, что – не помнишь?

Ночь в алтайских горах, особенно в конце августа и начале осени, обваливается почти мгновенно. Только укатится малиновое солнышко за вершины, как тут же словно кто-то накидывает чёрную дыроватую шаль на утихшую таёжную юдоль. Поверху дырочки на шали, хоть и скоплены по-разному: где густо, а где и редко, однако все они блестящие и манящие к себе.

Суслячиха отодвинула на середину стола кружку с недопитым чаем; приподнявшись с табуретки, склонилась к ярко горящей керосиновой лампе и прикрутила колёсико фитиля, оставив слабую полоску мерцающего за закопчённым стеклом пламени. Пора укладываться спать.

Тётка встала, доски пола скрипнули под её немалым весом, повернулась идти к заправленному топчану у белёной стены, но тут её привлекла какая-то неясная возня за окном. Кого это там принесло? Ступила по половицам неслышно и, беззвучно отворив низкую, оббитую старым одеялом дверцу, прокралась через сени на крыльцо. Так увлеклась, что забыла прихватить увесистую клюку, стоящую в простенке именно для таких случаев.

У поскотины что-то громоздко копошилось и ворочалось. Суслячиха, попутно сдёрнув у крыльца с рогулек для помытых стеклянных банок и прочей посуды трёхлитровый эмалированный бидончик и вооружившись им, продолжила красться к незваному гостю. Лёгкий ветерок дул в лицо, освежая.

– Чей же это бык забрался? – думала тётка. – Неужто Щитовский? Вот загоню-ка в сарай... Пусть побегает, поищет, старый жмот!

Тётка в азарте набросилась сзади на животное и принялась охаживать наугад, стараясь попасть тому по шерстистому заду, чтобы отогнать пакостника в сторону раскрытых ворот хлева. Бык, как быстро схватила в потёмках глазами Суслячиха, живо завернул здоровенную башку свою назад.

– Ага, ты еще и бодаться! – опередила его тётка и раза три с оттяжкой влупила бидоном прямо по бесстыжим зенкам ночного вора. И тут, очень кстати, высунулась из-за тучки луна. Стало чуток светлее.

Бык неожиданно так по-медвежьи рявкнул, что бедное сердце у Суслячихи обвалилось в пятки и чуть не убежало куда подальше по росистой траве прочь от этого побоища. Однако старые и жилистые руки крестьянки и без памяти знали, что делали. Ещё пару раз с силой, удвоенной отчаяньем, обрушила тётка теперь уже слегка расплющенный бидончик на медведя. Тот мотнул косматой головой и, воздевши толстую лапу с блеснувшими когтями вверх, прогрёб несколько раз сумеречный воздух перед собой, крутнулся на месте и – был таков. Только ломаемые кусты приречного ивняка потрещали напоследок.

Суслячиха, как стояла с помятым бидоном в руке, так и пала с ним обессиленно на травку-муравку. Потом еще долго удивлялась сама себе: как же это в

тот момент чувства её не оставили, а сердечко, залитое кипящей кровушкой, не полопалось на кусочки?

А медведь, как определилось с рассветом, только-то и хотел, что умыкнуть разорённый улей, да, видно, дурак молодой оказался: на точок, обломав пару жердочек на поскотине, зашёл с нагорья, из лесу, а с добычей надумал бежать к ручью напрямки, через двор. Да замешкался, вот и получил сполна.

В раскуроченном улье, сбитые в одну сторону, слиплись три рамки с мёдом и пергой да две с запечатанным расплодом, остальные вор порастерял дорогой. Суслячиха посокрушалась, собирая по точку рамки с попорченными выдавленными сотами: теперь их не откачать, надо либо съедать, либо опускать в лагушок на медовуху.

Правда, запечатанные почти не повреждены и должны бы еще сгодиться: их можно подставить в слабые ульи. Не сегодня-завтра пчёлка забрус на ячейках прогрызёт, молодняк выйдет, глядишь, и укрепит, усилит семью. Как говорится – с паршивой овцы хоть шерсти клок... Тётка вздохнула и покачала седой головой, удивляясь только что пришедшей на ум мысли:

– Почто ж это пчёлки нонешней-то ночкой её ни разу так и не нажгли? – и самодовольно хмыкнула про себя: – Значит, уважают хозяйку... Небось, еще и почитают! А почто бы и нет?

На следующий день на пасеку поднялся из города сын Валерка. Мать ему всё и обсказала.

Тот, смеясь, шутливо пожурил Суслячиху:

– Ну, ничего-то ты, маманя, и не поняла, я думаю, медведь к тебе свататься приходил? А ты ухажёра да бидоном по башке! – помолчал и, посерьёзнев, добавил: – Хорошо, что в этот раз обошлось. Буду ночами караулить. Уж коль повадился, разнюхал, то теперь – кто кого...

С лёгкой руки Валерки по всем заимкам и пасекам Сержихинской долины разнеслась весть, как сам же сын и определил, «о единоборстве матушки с Хозяином». Кто-то поверил, кто-то лишь усмехнулся: «мели, мол, Емеля – твоя неделя».

Однако пчёл у Сусляковых никто больше не тревожил, а ближе к зиме на полу в спаленке перед деревянной кроватью матери полёживала себе да красовалась широкая и ворсистая медвежья полость.

Гусыню, что немигающей бусинкой глаза испуганно смотрела на незнакомца, когда её бережно укладывали в рюкзак, разместили, в общем-то, с комфортом: наружу выглядывала одна лишь желтоносая голова с приглаженными белыми перьями на овальной головке и длинной шее. Верхнее отверстие рюкзака с дырочками для шнуровки Николай стянул гармошкой, но достаточно свободно, так, чтобы гусыня могла поворачивать голову и смотреть по сторонам.

Идти не меньше пятнадцати километров, палящие лучи полуденного солнца падают почти отвесно, дорога всего в нескольких местах пролегает через тенистую тайгу, а в основном петляет по альпийским выкошенным лугам и на спуске к посёлку нарезанными в склонах скалистыми серпантинами сбегает в ущелье, откуда до их пригородного посёлка рукой подать.

На дорожку и чтобы закрепить сделку, Суслячиха выставила на стол жбанчик доброй медовухи, сходила на огород да покрошила салата из огурцов и помидор, заправила сметаной, нарезала шматками оплавленное из-за теплыни сало с прожилками, налила в миски щей.

От обеда Коля не отказался, однако кисло-сладкой медовушки выпил только бокальчик и больше ни грамма. «Дескать, путь неблизкий, на такой жаре еще раскисну, да гусыню ненароком угроблю. И как же тогда я в глаза своему Харитоше погляжу? Он ведь, бедный, заждался...».

Тётка напротив, весело опрокинула в себя аж три бокальчика, раздобрела и удумала снабдить мужика в путь-дорогу этим хмельным зельем. Да не каким-нибудь мерзавчиком-напёрсточком, а нацедила доверху полуторалитровую пластиковую бутылку, крепко закрутила крышку и, прослезившись от чувств, вручила со словами:

– Как же я тебя отпущу без гостинца-то? Доставишь гусыню и отметишь. Она у меня больно ласкова...

– Кто – гусыня или медовуха? – не понял мужик.

– Правильно говоришь, – Суслячиха с пьяным восторгом громко икнула: – И та, и другая. Обе – мои душечки!

В сенях Николай поднял с пола рюкзак с недовольно гоготнувшей птицей, водрузил за плечи и вышел во двор. Отдыхавшие в тени гуси с его появлением резво загоготали и дружно наперегонки кинулись, точно как самолётики на взлётной полосе, на него.

– Беги, парень, за ворота! А не то живого места на тебе не оставят, – весело кричала с крыльца подгулявшая бабёнка. – Да не забудь калитку закрыть! Гусевод!

– И тебе не скучать! До встречи, старая!

– От такого же и слышу! Другой раз забегай – обскажешь, как принял твой гусак мою красавицу.

На взломок перед плоскогорьем Гладким выкарабкались без перекура. Николай старался держаться левой стороны каменистой дороги, ближе к пушисто-зелёной стене сплошного пихтача, который благодаря своей головокружительной высоте давал густую и прохладную тень. Однако на луговом плоскогорье всё пошло и поехало так, что поневоле вспомнилась зима, сугробы, морозец под тридцать, накатанная тропинка и скрип широких охотничьих лыж. Той бы бодрости и свежести да сейчас, когда от духоты плавились мозги, пот по лицу тёк без остановки, дыханье сбивалось, а бедная гусыня за спиной что-то подозрительно притихла.

– Потерпи, родимая, чуток, – бормотал мужик, прибавляя шагу: – Скоро уже ключик. Вон за тем поворотом. Накупаю тебя да сам освежусь...

Искупнулись. Миновали Гладкую. Идти стало легче, и не только потому, что полого вниз: почти за каждым изгибом серпантина им попадался просачивающийся из травы на дорожную бровку новый ручеёк; встречались и ниспадающие с каменистого откоса на обочину серебристые водопады. Своими упругими струями они выбивали причудливые лунки, порой такие, в которые можно прилечь и вытянуться в полный рост в воде и взрослому человеку.

Отдыхая у одного такого водопада, и решил пригубить тёткиного гостинца Николай. Отхлебнул, понравилось. Медовуха живительным теплом растеклась по жилам, взбодрила голову. Мысли заискрились празднично. Встал в глазах дородный гусак Харитон.

Пару красивых, в белоснежном оперенье птиц Николай купил по случаю, проезжая минувшим летом из областного центра через кержацкое село Черемшанку, которое славилось своим деревенским базаром. Принёс в ограду, опустил оба

пакета с гусями на землю, развязал тесёмки и, подталкивая, выпустил новосёлов на волю. Те поднялись, прижались друг к дружке и осмотрелись.

В углу загона на оплывах кучки перепревшего прошлогоднего сена копошились курицы. С возвышенности из центра за ними зорко приглядывал крупный, с богатым алым гребнем и острыми шпорами петух. Увидев непрошеных гостей на своей территории, он широко расправил цветные, с золотистым отливом крылья, взмахнул ими несколько раз и, воинственно заклекотав, бросился на гусей.

Не успел петух как следует разогнаться, как ему навстречу, хищно пригнув шею, понёсся дородный гусак. В середине загона птицы схлестнулись. От удара безрассудно-отчаянный петух раза три перевернулся в воздухе и отлетел чуть ли не к продольному ручью перед внешним забором, где в небольшой заводи плавали иссиня-чёрными ладьями две индоутки и селезень. Те, видя, что происходит что-то неладное, поспешно выбрались на тот берег на травянистую бровку у забора и там улеглись, тревожно поглядывая в сторону дерущихся.

Потрёпанный и взъерошенный петух подскочил было с прибрежных камешков в намеренье снова броситься в бой, но разглядев вперевалку идущего к нему огромного и решительного гусака, резко развернулся и, приопустив безвольные крылья, прихрамывая, пустился наутёк. Да не к своим товаркам-курицам, а в дальний угол под густую и разлапистую черёмуху, откуда безжалостному гусиному клюву его вряд ли достать.

Так вот и произошло знакомство гусей со своим новым местом жительства и некоторыми его обитателями.

Харитон и Прасковья – такие имена гусям выбрали Николай с дочурками – с первого дня заняли особое привилегированное положение на птичьем дворе: паслись они всегда парой, двигались по загону степенно; варёный комбикорм хозяин вываливал им в отдельную миску, к которой боже упаси кому другому приблизиться. Вмиг защиплют, затеребят.

Хотя в остальном, как заметил Николай, это были не злые, а скорее даже добродушные птицы, ходили, важно переваливаясь с боку на бок, от внушительной полоски муравки, которая, кстати, еще и зовётся гусиной травой, до ручья. Там плавали, купались, грациозно выпуская крылья вдоль поверхности воды, подныривали на глубину, выискивая на дне чего-нибудь вкусненького.

Вечером также степенно отправлялись эти лапчатые спать в разгороженный на отсеки хлев, проходили мимо привязанной к яслям с сеном коровы, с достоинством проносили себя мимо хрюкающих из-за решётки своего закутка хряка и его щетинистой подружки и укладывались в углу на подстилку из сенных объедьев, через какое-то время пряча клювы под роскошные крылья. И сделав это, тут же засыпали.

И только после этого в сарай, косолапо перевалившись через порог, забирались низкорослые индоутки во главе с приземистым и мощным по виду селезнем. Проскочившие раньше и рассевшиеся на насесте куры и петух поглядывали на происходящее свысока. Петух давно уже смирился со своим поражением и теперь в загоне резво обегал гусей на расстоянии не менее чем за два метра. Те же на него вообще не обращали никакого внимания. Да-а, породу пальцем не размажешь...

Перезимовали гуси хорошо. С середины февраля Прасковья принялась нести овально-крупные яйца, по одному через день. Николай в те минуты, когда птиц поблизости не оказывалось, осторожно брал снесённое, уносил из сарая и

складывал в ворсистый оренбургский полушалок в плетёной корзине на тёплой веранде, чтобы, как подсказали опытные соседи, потом, когда накопится достаточное количество, вернуть яйца в гнездо.

Если гусыня домашняя, а не выведенная в инкубаторе, то после того, как снесёт до полутора десятка яиц, она садится их выпаривать. Инкубаторские же неслись, как шутили соседи, до потери пульса. Едва ли не до самого мая, принося в сезон до пятидесяти штук. Оно бы и ладно, но вся загвоздка в том, что такие яйца для выпаривания птенцов были абсолютно непригодны. В народе издавна за этими пустышками закрепилось обидное название – «болтуны»...

Однако насчёт Харитона и Прасковьи у Николая, сомнения, если и были, то плескались они где-то на самом донышке его мужицкой души. Брал всё-таки у деревенских, продавец клялся, что не нужда бы в деньгах, разве принёс бы он на этот треклятый базар своих кормильцев, и, сокрушаясь, вздыхал: особенно когда гусыня честно высиживает тебе не меньше, чем по двенадцать птенцов каждый год!..

Но пушистого потомства от гусыни увидеть Николаю так и не довелось. Сам виноват – неплотно прикрыл дощатую дверь из денника в огород, и пока чистил хлев от навоза, гуси проскользнули наружу. Так-то бы всё ничего – осенью, после уборки с грядок овощей и корнеплодов Николай иногда выпускал сюда попастись своих пернатых, а перед этим Дингу, сидящую на цепи на внешнем углу сарая большую дворнягу загонял в будку и закрывал, подпирая щит увесистым дрыном, чтобы та ненароком не порвала какую-нибудь размечтавшуюся курицу.

Мужик только вычистил у поросят и намеревался в проходе грузить навоз в миниатюрную волокушу, чтобы оттащить из сарая, когда услышал истошный крик гусей. Как был, так и выскочил в заснеженный огород с лопатой наперевес, да поздно...

Собака при виде хозяина подняла довольную окровавленную морду от придавленной лапами к насту растрёпанной тушки гусыни. Глаза у Динги счастливо и хищно горели. Вот по этим-то злобным шарам и врезал наотмашь Николай измазанной свежим навозом лопатой. Собака взвизгнула, перевернулась на месте и, поджав хвост, бросилась в будку спасаться.

Гусак, взмахивая огромными крыльями и взмётывая снежную пыль с ближних сугробов, принялся кружить вокруг погибшей подруги и, пронзительно и жалобно крича на весь переулок, продолжал оплакивать свою Прасковью.

Когда Николай попытался подойти к погибшей гусыне, Харитон опередил его и накрыл широкими белоснежными крыльями свою пару, при этом вытягивая породистую шею и яростно шипя в сторону приближающегося хозяина.

Несколько дней после этого Харитоша не прикасался к еде. Выйдет в денник, встанет в углу и смотрит, не мигая, в одну точку. Не гагакнет ни разу, не щипнёт прошмыгивающую мимо курицу или переваливающуюся от собственной тяжести индоутку. Дошло до того, что обнаглевшие товарки по хлеву, чуя его полную безучастность ко всему, повадились выклёвывать всё из предназначенной ему миски. А гусь хоть бы что. Стоит, замерев, по-прежнему в углу, уставившись в одну точку, и... тает на глазах.

Жена, узнав про эту напасть, посоветовала Николаю прирезать гусака, пока тот не издох, но мужик в ответ так посмотрел на неё, что та, обтерев об фартук мокрые руки, тихо ретировалась назад в кухню к недомытой посуде.

Спустя неделю Харитоша начал помаленьку восстанавливаться. Другой раз пристроится сбоку к соседкам, выклёвывающим корм из его миски: виновато так прихватит кусок, какой попадётся, задрав шею, проглотит и грузно отойдёт в свой угол.

Чтобы отвадить курей и индоуток от воровства, Николай стал на время гусиной трапезы выпроваживать их на двор, а двери денника закрывать. И всё равно Харитоша обед не съедал до конца. Поклюёт, поковыряется, и отковыляет на пригретое место в углу у стояка.

С середины апреля загон зазеленел – пробилась долгожданная травка, особенно ярко вдоль забора. Талые воды сошли, ручей посветлел. Гусак выбрался из денника, облюбовал место на бережку у ограды и теперь днями полёживал там, лишь изредка спускаясь к воде, чтобы попить и поплавать.

Вскоре приключилась с Харитошей очередная беда. Приземистый селезень, учуяв, что гусак от горя сделался беспомощным и равнодушным к окружающему, стал нападать на того, злобно клевать и щипать, таскать за опущенное крыло. То ли таким образом он утверждал себя перед индоутками, то ли просто ревновал Харитошу к своим пернатым подругам и теперь так нахально демонстрировал своё превосходство над потерявшимся в жизни «соперником».

Как бы то ни было, но жизнь гусака с каждым днём становилась всё невыносимей. Что-то не понравится надменному селезню в поведении ковыляющего из денника в свой угол у ограды Харитоши, он подобно торпеде летит тому наперерез, подпрыгивает и впивается в шею, пригибает гуся клювом к земле. Тот норовит убежать куда подальше, но селезень повисит, потеребит перья и принимается таскать бедного Харитошу по загону. Только отстанет, а здесь и петух объявляется и тоже торопится клюнуть раз другой поверженного наземь гусака.

Наблюдать подобное Николаю было грустно и обидно из-за того, что гусь – такой огромный и мощный, а неизвестно отчего должен был терпеть унижения от этой низкорослой чёрно-пёстрой мускусной, с тёмными бусинками холодных глаз американской утки. А на трусливого петуха после его подлых выходок и смотреть-то не хотелось.

Вот и отгородил мужик закуток у черёмухи, внутрь поставил большой таз с водой, принёс миску с комбикормом и загнал хворостиной гусака в эту загородку. Здесь птица и жила, иногда выпускаемая под присмотром хозяина поплавать, поплюхаться в ручье.

Николай с выглядывающей из-за его спины гусыней миновал подгорную часть посёлка, как и прежде останавливаясь у каждого попадающегося по дороге ключика и окуная уставшую от жары и долгого сиденья в рюкзаке птицу, и наконец-то вошёл в родной переулок. Отсюда до дома всего-то метров триста, вроде бы всё обошлось – главное, что по пути не сварил птицу, вон она живёхонькая погагакивает себе за плечами.

– Небось, гуся почуяла, милая, – усмехнулся Николай. – Это хорошо, значит, быстро подружитесь...

Калитку в загон мужик открывал уже под такой неистово-громкий аккомпанемент обоюдного гусиного крика, что хоть уши ватой затыкай! Остальные дворовые пернатые, будто почуяв что-то опасное для себя, предусмотрительно отбежали в дальний угол к ограде, сгрудились там и с недоумённым напряже-

нием вертели своими пёстрыми и белыми головками с хохолками и красными гребешками. А счастливый Харитоша метался вдоль своей изгороди, бил широкими крыльями по штакетинам, цепляя клювом, пытался сломать тонкие доски и ветки на решётке.

Николай, как был с рюкзаком за спиной, так и заспешил отворить убежище и выпустить гусака на волю, чтобы потом уже выпростать и гусыню из рюкзака. Харитоша выбрался на травку, расправил белоснежные крылья и захлопал ими, продолжая издавать свои восторженные гимны любви.

Не успел хозяин снять рюкзак и поставить наземь, чтобы выпустить гусыню, неожиданно сбоку от сгрудившихся птиц отделился селезень и, как обычно, торпедой понёсся на гуся. Дерзкий налётчик молниеносно получил отпор: Харитоша чуть отступил в сторону, поймал того за пушистый загривок и так отшвырнул от себя, что селезень угадал прямо в открытый проём гусиной загородки, опрокинул там тазик с водой и распластался в грязи.

– Ну, точно по-библейски: и аз воздам... – покачал головой мужик и принялся развязывать тесёмки.

Гусыня из рюкзака вышла, наверное, так же, как выходят на подиум модели: грациозно и с изысканным превосходством. Сейчас она, как всего лишь пять минут назад, уже не кричала, не шипела, и голову держала горделиво. Когда гусыня поравнялась с воодушевлённым Харитошей, тот лишь коротко гагакнул и, спокойно развернувшись к ручью, вперевалку отправился к воде. Гусыня покорно последовала за ним.

– Сразу видно, кто в доме хозяин... – ухмыльнулся вдогонку уходящим птицам Николай. И если бы кто был рядом и услышал, то вряд ли бы определил: шутит он или чуточку завидует.

На третий день рано утром Николай, как обычно, отворил входную дверь и переступил в денник. Следующая дверь, в сарай, из-за тёплых ночей была распахнута настежь. Куры и петух на насесте сидели, нахохлившись, гуси лежали в своём углу, спрятав головы под крылья, а вот индоуток нигде не было видно. Неужели залезли в узкую застреху между загородкой поросят и стеной? Но и там тоже пусто.

Мужик в недоумении вернулся в денник. Вроде с вечера никого не просмотрел, всех загнал. Правда, индоутки, особенно селезень, ни в какую не хотели идти, пришлось подгонять хворостиной.

За двое суток Николай трижды стал свидетелем схваток селезня с гусаком. Теперь уже Харитоша таскал по загону своего врага, мотая того из стороны в сторону. Видя это, мужик подумывал расширить укрытие под черёмухой и определить туда всех трёх индоуток. Пусть и возникнут дополнительные хлопоты: придётся где-то косить траву и забрасывать в загородь через верх кошенину, сопровождать птиц к ручью, ну так что же? Зато будут целее...

– Сейчас вот отыщу этих засранцев, – злился мужик, – и мигом загоню под черёмуху!

Он еще толком не успел додумать, а глаза уже нашли в дальнем темноватом углу лежащих большим пернатым комком индоуток. Как он сразу не увидел их при входе? Злость моментально испарилась.

– Вы чего ж затихли-то? Глупенькие... Ступайте за мной, первыми покормлю.

Однако всегда понятливые птицы в этот раз никак не отозвались, всё также продолжая лежать на пыльном дощатом полу. Единственное, что сделали, так это обе самочки теснее пододвинулись к находящемуся посредине селезню, безжизненно склонившему хохлатую головку к поперечной стенке.

Николай шагнул к ним. Индоутки нехотя поднялись навстречу и, обойдя его, заковыляли в сарай.

– Вот тебе и Юрьев день! – растерянно пробормотал мужик, поддел носком сапога тушку селезня и перевернул убитую птицу на спину. Измочаленная шея селезня была вся окровавлена, перья свалены и скручены в жгуты.

Краем глаза Николай подметил, как в дверном проёме из сарая показался гусак. На жёлтом клюве у Харитоши кое-где пятнела засохшая кровь. Гусак чуть наклонил породистую голову набок и с невинным любопытством поглядывал – чем это занят хозяин?

– Ты что же это натворил? – только и обронил Николай, да в сердцах лишь досадливо махнул рукой. Постоял, покачал кудлатой головой, сходил за ведром и лопатой.

Пока уносил на соседний пустырь закапывать селезня, вся птица высыпала из хлева в загон и, как ни в чём не бывало, принялась пощипывать травку да выискивать червячков с прочими личинками.

Вечером, подоив Малютку и задав корма поросятам, вышел Николай в загон. Птица, увидев в руках у него хворостину, сама без принуждения живо наладилась в сарай. Первыми проскочили куры во главе с петухом. Следом от ручья гуськом прошествовали мимо стоящего посреди загона хозяина статный и осанистый Харитон, в нитку за ним его верная гусыня. А дальше... Мужик не поверил своим глазам: вослед за гусыней, лапчато переваливаясь с боку на бок, преданно вытягивая иссиня-чёрные, с отливом шеи и стараясь не отставать от гусей и не ломать строя, поспешали обе индоутки.

И эта деловитая колонна вечерних пернатых почему-то вдруг навеяла Николаю мысли о птеродактилях, древних птице-ящурах, которые были и травоядными, и одновременно хищниками. Только вот приспосабливаться к изменяющимся условиям они, в отличие от нынешних пернатых, не умели.

Потому-то, наверно, и вымерли...